

**ЖУРНАЛИСТИКА
И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ**

УДК 070(091)

**КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗА
В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ПУШКИНИАНЫ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

Д.В. Туманов

Аннотация

В статье на основе принципов концепции культурной трансформации, развиваемой в рамках современного социокультурного анализа, исследуется эволюция образа А.С. Пушкина в публицистике русского зарубежья. В это время образ А.С. Пушкина стал предметом знаковой публичной социально-политической дискуссии, отразившейся в российской культуре.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, публицистическая пушкиниана, эволюция образа, публицистика и литературный процесс XX века, публичная социально-политическая дискуссия.

В последние годы появилось немало интересных публикаций документов и исследований по тем или иным конкретным сюжетам истории культурной и политической эволюции русского зарубежья, но попыток ее комплексного изучения практически не предпринималось. Как исключение можно назвать содержательные работы М.В. Назарова «Миссия русской эмиграции», М.И. Раева «Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919–1939» и М.Д. Филина, который, опубликовав ряд сборников текстов эмигрантской пушкинианы и статей на тему «Зарубежная Россия и Пушкин», собрал и издал материалы для библиографии пушкинианы русского зарубежья. Кроме того, вышли в свет второй том «Литературной энциклопедии русского зарубежья», посвященный периодике и литературным центрам, и первый том энциклопедии «Культурология. XX век» со всеобъемлющей статьей о культуре русского зарубежья. Заслуживают внимания многочисленные труды исследователей литературно-публицистического наследия русского зарубежья Г.П. Струве, Т.А. Осоргиной-Бакуниной, Ю.К. Терапиано, Л.А. Фостер и других.

В русском зарубежье развился настоящий культ А.С. Пушкина. В памяти изгнанников А.С. Пушкин и Россия были неотделимы друг от друга. Политическая позиция А.С. Пушкина интерпретировалась как примирение с царским режимом из страха перед народным бунтом, его хвалебные отзывы о русском национализме

и империализме, бескомпромиссный индивидуализм и духовное вольнолюбие находили горячий отклик у эмигрантской интеллигенции. Важную роль в сотворении такого образа Пушкина сыграли С.Н. Булгаков, А.В. Карташев, Д.С. Мережковский, С.С. Ольденбург, П.Б. Струве, Г.П. Федотов, С.Л. Франк и другие.

В русском зарубежье развивается полистилизм в интерпретации образа Пушкина. В его творчестве находятся необходимые подтверждения концепциям всех политических и литературных течений русской эмиграции. «Мой!» – уверенно заявляют об Пушкине и правые, и правоцентристские, и праворадикальные движения, и эмигрантский фашизм, и эмигрантский меньшевизм, и «пореволюционные» идейные течения и организации, и масоны. «Мой» он и для республиканско-демократического лагеря, и для невозвращенцев и перебежчиков, и для русской православной церкви за рубежом.

Внимательно отслеживая процессы интерпретации пушкинского наследия и социального образотворчества в Советском Союзе, эмигранты ведут постоянный публицистический диалог с советской пушкинианой, оказывая влияние на ее становление и пути развития. Неизбежно меняется и зарубежная пушкиниана, приобретая некоторые черты моностилизма.

Образ Пушкина значительно трансформируется на этапе перехода от полистилистической к моностилистической культуре российского общества. На основе смены взглядов на А.С. Пушкина (от примитивно-революционного социологизма двадцатых до антиреволюционной апокалиптичности девяностых, в которой исчезли последние следы литературно-языковой материи) вполне можно построить всю историю русской культуры последних полутора веков; то, что некогда было культурным событием, переходит в разряд культурного обихода.

Концепция культурной трансформации, развиваемая в рамках современного социокультурного анализа, может послужить теоретическим стержнем и для осмысления социального конструирования образа Пушкина, мифологизации его творческого наследия в исторической ретроспективе экономических, политических и социокультурных изменений общества. Следует отнестись к социальному конструированию образа Пушкина в официальной доктрине и массовом сознании как артефакту, культурно-историческому феномену и рассмотреть явление с точки зрения онтологии. Это позволяет применить логику анализа культурно-исторических форм для решения поставленных нами задач.

Социально-политические изменения в стране после Октябрьской революции вызвали кардинальную трансформацию общественного сознания. Впервые в России литераторы и критики руководствовались принципами и программой партии, а партия, в свою очередь, опиралась на идейно близких ей публицистов. Закономерен возникающий в этот период интерес к свободолобивой поэзии А.С. Пушкина: в накаленной атмосфере революционных лет его призыв к свободе мог быть вписан в рамки коммунистической идеологии. Требовался механизм, обеспечивающий закрепление в массовом сознании «обновленного» образа поэта.

Распространение творческого наследия поэта в дореволюционной России зачастую носило характер русификации коренного населения. В недавно покоренных краях специально обученные популяризаторы собирали жителей на главные площади аулов и устраивали митинги, посвященные пушкинскому юбилею.

Ненависть к миссионерам оборачивалась неприятием, а порой и обычным непониманием поэзии А.С. Пушкина. «Лубочная пушкиниана» находила свое воплощение в «пушкинских» лампах, веерах, часах, ножах, металлических стаканчиках, бокалах, чайных чашках, вазах, ситцевых платках с портретом Пушкина, ботинках à la Пушкин, мыле, духах, гастрономической продукции, винно-водочных изделиях, носящих имя поэта и пр.

Предвидя последствия потребительского отношения к искусству в целом, А.А. Блок заметил: «Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация. Со временем народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но из своего... интеллигентского недомыслия хотел к нему “спуститься”. Народ – наверху; кто спускается, тот проваливается» [1, с. 446].

Вместе с тем пушкиноведение получило возможность создавать обобщающие, синтетические труды. Социально-политическая трансформация российского общества в пореволюционный период, поставившая проблему разрушения прежних стереотипов и формирования новых моделей отношения к творческому наследию российской культуры, породила многочисленные литературные и литературоведческие течения, весьма неоднозначно оценивавшие наследие А.С. Пушкина.

К началу двадцатого века споры вокруг имени А.С. Пушкина велись по большей части в кругу интеллигенции Москвы и Санкт-Петербурга. Провинция, как правило, не участвовала в диспутах, придерживаясь лишь официальных трактовок образа поэта. Кроме того, эти споры носили частный характер толкования тех или иных произведений, а потому не могли стать достоянием широких читательских масс.

Надвигалась «эпоха тьмы», образно охарактеризованная В.Ф. Ходасевичем, при которой «эпоха Пушкина – уже не наша эпоха, а писателем древности он еще не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет еще достояние немногих» [2, с. 376].

Каждое из декадентских течений (символизм, младосимволизм, акмеизм, эгофутуризм, футуризм) выдвигало свою эстетическую программу, включавшую в себя и отношение к классическому наследию завершающейся эпохи. Первым манифестом социальной этики и эстетики русского символизма стала книга Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Теоретиком и организатором символизма стал В.Я. Брюсов. Однако, в отличие от Д.С. Мережковского, он все же не возводил символизм в мировоззренческую категорию, признавая его лишь как литературную школу. Вскоре возникло новое течение – младосимволизм. Подменяя понятие социальной революции понятием «революции в духе», которую совершит человечество под воздействием искусства, А.А. Блок, Б.Н. Бугаев (Андрей Белый), Ф.К. Сологуб и другие сторонники этого течения переносили проблемы современности из социальной плоскости в сферу эстетических отношений. У акмеистов – А.А. Ахматовой, С.М. Городецкого, О.Ю. Мандельштама, Н.С. Гумилева – основным направлением, ориентиром в искусстве стал изысканный стиль, четкость поэтических конструкций. Д.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, А.Е. Крученых,

В.В. Каменский, В.В. Маяковский объединились вокруг подчеркнуто анархической программы футуризма, провозгласив революцию формы, независимо от содержания, субъективную волю художника, абсолютную свободу поэтического слова и отказ от всех традиций.

Вместе с возникновением русской диаспоры и образованием таких центров культуры русского зарубежья, как Прага, Белград, Варшава, Берлин, Париж, Харбин, русская культура начинает жить и развиваться за рубежом не только не в отрыве, но и в отчетливом идеологическом, политическом и культурном противостоянии Советской России, осуществляя перманентный диалог-дискуссию с русской советской культурой.

При этом пушкиниана русского зарубежья, не только публицистическая, но и всякая иная, долгое время оказывалась на периферии общественных и научных интересов, сначала по политическим мотивам ее оппозиционной антибольшевистской сущности, затем по причинам чрезвычайной сложности настоящей встречи с пушкинианой эмиграции из-за рассеянности источников по многочисленным российским и зарубежным архивам. Между тем идентичность проблем, поднимаемых Советской Россией и «Россией за пределами России», по образному выражению современного американского слависта, историка и культуролога эмиграции М.И. Раева, позволяет говорить о публицистике СССР и русского зарубежья как о едином культурном явлении, что в итоге и помогло осуществить постсоветский реэмиграционный процесс.

В эмигрантских газетах периода гражданской войны имя А.С. Пушкина встретить почти невозможно: редкие сообщения носят характер сугубо культурной информации, – военные действия и политические акции заслоняли собой все.

Одним из самых крупных событий начала двадцатых годов был Съезд национального объединения, открывшийся в Париже 6 июня 1921 г. Совпадение этого события с днем рождения А.С. Пушкина оказалось символичным. Помимо теоретических вопросов осмысления политического строя Советской России, ее экономического положения и анализа русского опыта коммунизма, съезд решал практические задачи выработки программы русского национального объединения. Впоследствии оказалось, что сама идея объединения всех сил русского зарубежья для спасения Родины трудноосуществима. В центр своего национального сознания эмигранты поместили образ А.С. Пушкина – такой, каким они его создали, идеологизировали, и это была самая удачная их находка.

Возможно, что именно это решение, с готовностью и энтузиазмом воплощенное в 1937 г. в торжествах русской эмиграции, побудило советское руководство отметить столетнюю годовщину смерти А.С. Пушкина с такой помпой, размахом и в таком же духе, в каком русское зарубежье чествовало создателя современного литературного русского языка.

Сквозь все написанное о нем в русском зарубежье можно прочертить традиционный для России треугольник: Православие – Самодержавие – Народность. А.С. Пушкин искушает говорить не о нем, а о себе, о своих политических пристрастиях.

В критических статьях философов русского зарубежья С.Н. Булгакова, В.И. Иванова, И.А. Ильина, А.В. Карташова, Д.С. Мережковского, С.Л. Франка,

И.С. Шмелева и других доминируют представления о поэте как пророке, учителе и духовном вожде нации. Разнообразные формы сакрализации А.С. Пушкина сопрягаются с идеей гармонического объединения в его гении противоположных начал национального духа и национального бытия. «Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта», – утверждал Г.П. Федотов [3, с. 375].

Пафосу религиозно-философской интерпретации А.С. Пушкина в изгнаннической России противостоит «трезво-эмпирический» подход В.В. Набокова, В.Ф. Ходасевича, М.И. Цветаевой, в выступлениях которых А.С. Пушкина предлагалось любить «не за проблематическое духовное преображение, а за реально данную нам его поэзию – страстную, слабую, греховную, человеческую» [4, с. 493].

Рассмотрим четко выраженные линии, наметившиеся в социальном образотворчестве и мифологизации образа А.С. Пушкина еще в дореволюционное время: поэт-пророк и чистый поэт. Самое яркое воплощение первого мифа – работы Д.С. Мережковского «Пушкин» (1896) и «Лев Толстой и Достоевский» (1900–1901). Источником второго мифа является статья В.С. Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899). В конце 80-х годов XX века, уже в перестроечной России, по мере ослабления моностилистических парадигм такое противостояние прослеживается в работах А.Д. Синявского, скрывшегося под псевдонимом Абрам Терц, «Прогулки с Пушкиным» (1975) и В.С. Непомнящего «Пророк. Художественный мир Пушкина и современность» (1987).

За каждым из этих подходов стояла культурная парадигма, сформировавшаяся на рубеже веков в рамках полистилистической культуры. По мере укрепления моностилистической культуры в советской России культура полистилизма вытеснялась в эмиграцию. У разных авторов русского зарубежья был свой подход к решению задач мифологизации образа Пушкина. При всей серьезности разработки одной из двух линий социального образотворчества («пророк» – «поэт») всех пишущих объединял глубоко личный, авторизованный взгляд на личность и творчество поэта, когда критическое эссе об А.С. Пушкине неожиданно – даже для самого автора – оборачивалось автобиографическим очерком: сказывалась деиерархизация, присущая полистилистическому типу культуры.

Но прежде, чем взглянуть на «невероятные сооружения», которыми окружило А.С. Пушкина русское зарубежье, – несколько слов о разделяемом нами позиции по поводу русской эмиграции. Сложность, которую испытывает любой исследователь печати, заключается в том, что журналистика эмиграции слишком тесно переплетена с политикой. И предложение Карла Шлегеля «воспринять эмиграцию и связанный с ней раскол России в первую очередь не как политическое, а как культурно-цивилизационное членение» [5, S. 238–256], на наш взгляд, слишком упрощает ситуацию. Как, вероятно, не совсем правы и те, кто сводит публицистическую деятельность изгнанников из России только лишь к политическому противостоянию между отдельными партиями в русском зарубежье и в целом с большевизмом. По нашему мнению, наиболее близким к истине является компромиссное решение А.В. Лысенко: «История журналистики межвоенного изгнания – в какой-то мере история адаптации русских газет к новым культурным и социально-политическим условиям» [6, с. 20].

Если же учитывать, что традиции послереволюционной эмигрантской прессы на русском языке в Германии начали формироваться в 1918 г., в Праге и Париже – в 1919 г., а в Белграде и Харбине – в начале 1920-х годов, когда, несмотря на различные политические и художественные ориентиры, периодика была единственным объединяющим звеном между эмигрантами, литературно-художественный, публицистический процесс в зарубежье представлял собой богатый спектр разноплановых явлений. Публицистика в эмиграции стала своеобразным проводником по всем областям жизни. Как справедливо указывал Г.В. Жирков, «это богатейшая творческая лаборатория журналистики в особых условиях, где находилось место для выступлений не только публицистов, журналистов и литераторов, но и философов, социологов, теологов и материалистов, историков, политиков и литературоведов, монархистов, социалистов, демократов и республиканцев» [7, с. 4].

Горячие злободневные споры изгнанников на страницах изданий об ответственности за прошлое и настоящее России, идеологические противостояния из-за выбора тактики или программы в связи с теми или иными событиями в Советском Союзе сочетались в русском зарубежье с широким историософским размахом, продуманностью концептуальных посылок и выводов. Тайна Пушкина сосредоточивалась, прежде всего, по мнению эмигрантов, не в политической злободневности и революционной настроенности его мысли, а в его пророческой миссии. «Пушкин учил Россию видеть Бога и этим видением утверждать и укреплять свои сокровенные, от Господа данные национально-духовные силы, – утверждал И.А. Ильин в своей торжественной речи, неоднократно повторенной в 1937 году в различных эмигрантских кругах. – Из его уст раздался и был пропет Богу от лица России гимн радости сквозь все страдания, гимн очевидности сквозь все пугающие земные страхи, гимн победы над хаосом» [8, с. 222].

Несмотря на то что А.С. Пушкин имел репутацию либерала и религиозного вольнодумца, если не атеиста, традиции, заложенные Ф.М. Достоевским, перенесшим разговор о поэте в сферу духовно-нравственную, продолжали утверждаться: критики все яснее обнаруживали в пушкинском творчестве мотивы религиозные, христианские, православные. Пока советское пушкиноведение исследовало фактологию, текстологию, поэтику, стилистику, биографические и историко-литературные проблемы, русское зарубежье сосредоточилось на исследовании духовности А.С. Пушкина с философской, нравственной, метафизической, религиозной стороны.

«Определяющим началом в мышлении Пушкина в пору его зрелости, – полагал протоиерей С.Н. Булгаков, – было духовное возвращение на родину, конкретный историзм в мышлении, почвенность. В этом же контексте он понимал и значение православия в исторических судьбах русского народа. Последнее, естественно, пришло вместе с преодолением безбожия и связанной с этим переоценкой ценностей. Действительно, мог ли Пушкин, с его проникающим в глубину вещей взором, остаться при скудной и слепой доктрине безбожия и не постигнуть всего величия и силы христианства?» [9, с. 12].

Даже смерть поэта, свершившаяся в нарушение заповеди «не убий», вдруг обретала высокое христианское звучание. Размышляя о «подлинной» причине

убийства А.С. Пушкина, епископ Леонтий (Туркевич) пишет, что тот «мстил французам-католикам и за его иезуитскую изворотливую мораль. Он выступал ревнителем – если хотите – самого Православия. <...> Он до некоторой степени умирал мучеником за чистоту освященного <...> Церковью законного брака» [10].

Юбилейный пушкинский 1937 год совпал с двадцатилетием Октября, которое большевики готовились отметить с небывалым размахом. Противопоставить этому эмиграции было практически нечего. Требовалось неожиданное решение, некий парадоксальный шаг, совмещающий в себе политическое выступление с явственно выраженной аполитичностью. И этим шагом, этим неординарным решением мог стать А.С. Пушкин. Уже в середине 1934 года на совещании в парижской квартире лидера влиятельной кадетской партии, знаменитого историка, редактора крупнейшей русской эмигрантской газеты «Последние новости» П.Н. Милюкова было принято решение об организации всемирного чествования А.С. Пушкина в связи со столетием его гибели.

Как писал в своей книге «Моя зарубежная Пушкиниана» один из участников того совещания прима-танцовщик и балетмейстер Парижской Оперы видный пушкинист русского зарубежья С.М. Лифарь, «Пушкин чествовался в 1937 году... во всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии в 4 городах, в Азии в 8 государствах и 14 городах, в Америке в 6 государствах и 28 городах, в Африке в 3 государствах и в 5 городах, а всего в 42 государствах и в 231 городе», ему отдали дань уважения «166 Пушкинских Комитетов, из них 127 в Европе, 4 в Австралии, 9 в Азии, 21 в Америке и 5 в Африке» [11, с. 61–62]. Юбилейные спецвыпуски эмигрантских изданий появились в тот год почти во всех странах, где осели русские изгнанники, не говоря уже об устройении ими выставок, публичных выступлений и публицистических вечеров, посвященных А.С. Пушкину.

Подводя итоги пушкинским торжествам, Ф.А. Степун отметил: «Конечно, эмиграция и Советская Россия чтит и чествовала не одного и того же Пушкина, а двух весьма далеких друг от друга, различных, но все же во всеобъемлющем единстве поэта заключенных. Советская Россия праздновала популярного Пушкина всей левой интеллигенции, вольнодумца, гордого тем, что в свой жестокий век прославил он свободу и милость к падшим пробуждал. Эмиграция же чествовала Пушкина, впервые увиденного Достоевским, человека всеобъемлющей души и всепонимающего сердца» [12, с. 24].

Внимательно отслеживая события в СССР, Г. Федотов более недоверчиво, чем Ф.А. Степун, отнесся к событиям 1937 года: «Слишком уже вопиюще противоречие между Пушкиным и сталинизмом. <...> Только презрением к человечеству – или к русскому народу – можно объяснить пушкинский либерализм Сталина: это быдло никогда не поймет! А что, если поймет? Если Пушкин наконец станет “сеятелем свободы” в родной стране?» [13, с. 32]. Впрочем, не идеализируя своих собратьев по изгнанию, Г.П. Федотов весьма откровенно охарактеризовал и историко-культурологическую ситуацию в диаспоре: «Как обстоит дело с русской культурой, которую мы призваны здесь “хранить”? Для большинства она исчерпывается пошлым романсом и патриотическим лубком прошлого столетия. Вся пропыленная, засиженная мухами обстановка глухой

русской провинции, которая раньше стыдливо пряталась, теперь бесстыдно выпирает наружу, требует себе признания – на наших публичных собраниях, на литературных вечерах, на страницах журналов. <...> Одни ненавидят культуру как создание интеллигенции – политического врага. Другие – масса молодежи – убеждены, что Россия потребует от них экзамена в воинском строе, а не в знании Пушкина», – и пушкинские торжества в русском зарубежье, по его мнению, лишь «свидетельствуют о страшном упадке вкуса, о несомненной деградации» [14, с. 40].

В том, что писалось об А.С. Пушкине в русском зарубежье, можно выделить три основные темы, касаясь которых, авторы вступали в прямое столкновение со своими заочными советскими оппонентами. Это, прежде всего, глубина и особенности религиозного сознания поэта, о чем наиболее определенно и подробно писал С.Н. Булгаков. Другой полемической темой являлось исследование личности Пушкина как политического мыслителя, нашедшее отражение в публицистике С.Л. Франка и Г.П. Федотова. И, наконец, третье направление связано с анализом советской действительности сквозь призму отношения к А.С. Пушкину и представлено фельетонами И.И. Тхоржевского и А.П. Шполянского (Дон Аминадо).

В годы войны, когда эмигранты практически лишились возможности издавать в Европе свои газеты, журналы и альманахи, стала исчезать и пушкиниана. В оккупированном Париже, в 1941 году, выходит в свет тоненькая книжица на русском языке «Изучайте Пушкина!». Ее автор В.Л. Бурцев, известный разоблачитель Азефа, оказавшись в эмиграции, увлекся пушкинизмом. Конечно, все его труды отдавали дилетантизмом, не исключение и эта, последняя в его жизни брошюра. Вероятно, она никогда не войдет в анналы академического пушкинизма, но до сих пор является свидетельством того, что пушкиниана приобрела в русском зарубежье народный характер, это была идеология выживания.

В своей статье, относящейся по времени создания к началу Второй мировой войны, перманентную обращенность первой волны эмиграции к поэту Г.В. Адамович объяснял вездесущностью А.С. Пушкина: «Иногда русский художник... совершенно забывает о нем, надолго уходит в свой замысел: однако, если замысел этот национально обоснован, т. е. не вздорен и призрачен, а чему-то реальному отвечает, художник где-нибудь, порой на самом неожиданном перекрестке, встречается Пушкина и чувствует, что нельзя его обойти» [15].

В своем выступлении на торжественном заседании парижского Центрального Пушкинского комитета в 1937 г. Д.С. Мережковский предложил иное видение востребованности поэта в русском зарубежье: «Пушкин продолжает дело Петра. Оба они знают или пророчески угадывают, что назначение России соединить Европу и Азию, Восток и запад в грядущей всемирности. <...> Вот почему сейчас так, как еще никогда, нужен Пушкин обеим Россиям. Что их две – одна здесь, в изгнании, другая там, в плену, – это очень страшно; этого не бывало никогда ни с одним народом; но надо смотреть правде в глаза, это сейчас так: на две половины расторгнута Россия, и мы только верим, что обе половины соединятся. Непременное свидетельство единой России – Пушкин. <...> Он – огненный столп, ведущий нас в пустыне изгнания на Родину» [16, с. 33]. Такое откровение чрезвычайно важно для понимания ментальности первой волны

русской эмиграции и места в нем сконструированного эмигрантской публицистикой образа Пушкина.

Если представители первой волны эмиграции уезжали из России с любовью к ней, то эмигранты второй и третьей волн покидали страну с ненавистью. Когда в середине 1970-х годов в Париже была предпринята попытка устроить встречу всех волн русской эмиграции, она провалилась: потомки эмигрантов первой волны не смогли найти общий язык с новым поколением. У советских эмигрантов второй и тем более третьей волны сформировалась уже другая ментальность; разный опыт, мировоззрение, язык мешали возникновению связей между поколениями.

«Первая русская эмиграция не дожидалась столетнего юбилея, чтобы в имени Пушкина найти себе оправдание и опору. Октябрьская революция – университетская пугачевщина, по пророческому определению Жозефа де Местра, – была победой антипушкинского начала, которое выразилось еще до этого в писаревщине и в требовании Маяковского сбросить Пушкина с корабля современности. Как бы в противовес, по почину “Союза русских просветительных и благотворительных обществ” в Эстонии был устроен в 1924 году первый праздник “Дня русского просвещения”, приуроченный к 125-летней годовщине со дня рождения Пушкина», – писал Н.А. Струве о роли пушкинского наследия в формировании менталитета в своей статье «России вне России» [17]. Эмиграции был необходим символ, потребность ощутить нечто высшее, что могло бы над партиями соединить эмигрантов между собой и всех их в совокупности с потерянной родиной. Таким символом оказался пушкинский язык, та русская речь, которая была создана поэтическими опытами Пушкина.

Однако к началу третьей волны эмиграции ситуация в литературе изменилась. После 1934 года контакты между эмигрантами и советскими гражданами прекратились окончательно, русская эмиграция оказалась в полной изоляции. Между тем русский язык за пятьдесят лет советской власти претерпел значительные изменения, творчество представителей третьей волны складывалось не столько под воздействием русской классики, бывшей литературным ориентиром эмигрантов первой волны, сколько под влиянием популярной в 1960-е годы в СССР американской и латиноамериканской литературы. Блестяще переведенные Р.Я. Райт-Ковалевой произведения Дж. Сэллинджера стали больше, чем просто популярным чтением для молодежи и открытием интересного писателя, с них начались некая «американизация» отечественной молодежной субкультуры, оформление ее сленга, определение фундаментальных понятий, поведенческих стереотипов и т. д. (см. [18, с. 109–115]).

«Писатель – диссидент изначально, но не в том смысле, как часто думают. Советская литература рождает антисоветскую литературу, которая иной раз выглядит, как ее зеркальное отражение. Я бы сказал, что истинная единая русская литература – это и не советская, и не антисоветская, но внесоветская литература», – сказал В.П. Аксенов на конференции по третьей волне в Лос-Анджелесе (цит. по [18, с. 112]).

Писатели третьей волны оказались и в эмиграции в совершенно новых условиях, поскольку, в отличие от эмигрантов первой и в какой-то степени второй волн, не ставили перед собой задач «сохранения культуры».

Одной из основных черт русской эмигрантской литературы третьей волны станет ее тяготение к авангарду, постмодернизму. Вместе с тем третья волна была достаточно разнородна: в эмиграции оказались писатели реалистического направления (А.И. Солженицын, Г.Н. Владимов), постмодернисты (Ю.М. Мамлеев, Э.В. Лимонов), нобелевский лауреат И.А. Бродский, антиформалист Н.М. Коржавин.

В 1975 г. А.Д. Синявский выпустил во Франции книгу «Прогулки с Пушкиным». С этого момента А.С. Пушкин становится центральным персонажем постмодернистской поэзии и постоянным объектом деконструкции: «наше все» стало эмблемой всего чего угодно – атеизма и православия, диссидентства и державничества, морализма и эротоманства, традиционализма и разрушения традиций, превратившись в «наше ничто». А.Д. Синявский одним из первых показал, что в личности и текстах самого А.С. Пушкина скрыт тот плюрализм, который и стал основой философии постмодернизма. После него, по замечанию А.Г. Битова, «Пушкин – уже не имя собственное, а слово» [19, с. 571]. Сам образ Пушкина превращается в анекдотическую ситуацию, в портрет из учебника, воспринятый глазами школьника, в серую картонную обложку издания «Учпедгиза». Так, в стихотворении И.А. Бродского «Представление» есть строка: «Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах – папираса» [20, с. 114], напрямую апеллирующая к известному анекдоту, где инициалы «А.С.» читаются как слово «ас», обозначающее в переводе с французского «первый в своей области» – титул военных летчиков, в совершенстве владеющих искусством пилотирования и воздушного боя. Обращает на себя внимание и строка Бродского «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета мой Дантес», где персонажи из биографии поэта становятся некими кодами, коннотативное значение которых может быть отнесено к широкому ряду ассоциаций.

«Сегодняшняя Россия с тем лучшим, что там появляется в литературе, для нас не чужая и не закрытая страна. И наши читатели не только здесь, но и в современной России, – заметил в эмиграции А.Д. Синявский. – Да и шире рассуждая, нынешняя эмиграция куда теснее связана с метрополией, чем это было в прошлом. В наши задачи входит укрепление этих мостов и наведение новых» [21, с. 155]. Эта же мысль звучит в выступлениях и В.Н. Войновича, и В.П. Аксенова, и С.Д. Довлатова, и многих других авторов. В.П. Аксенов, однако, уточняет: «Что касается меня, то я отношу себя к русским космополитам, и в этом нет противоречия. Пушкин ни разу не выезжал за границу, но был самым настоящим русским космополитом. Им же был и Гоголь, хотя он не мог жить без перемещений. Русские писатели за границей писали очень плодотворно, примеров тому немало» [22].

Русская эмиграция первых двух волн настороженно восприняла эти эксперименты. «Пушкин – это солнце, и он необсуждаем», – пояснил в личной беседе 4 августа 2007 г. Н.А. Струве, потомок эмигрантов первой волны. Выпускник Сорбонны, профессор славистики, он уже почти полвека возглавляет известнейшее в Европе парижское издательство «УМСА-Пресс». Среди его работ – создание антологии русской поэзии Золотого и Серебряного веков с авторскими переводами на французский язык стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,

А.А. Фета, А.А. Ахматовой и других поэтов, издание на французском языке труда об истории русской эмиграции и т. д.

«Вся наша культура, словесная, во всяком случае, свидетельствует о Христе, – размышлял тогда Н.А. Струве. – И причем это не только свидетельство о Христе, но часто еще и мученичество. Мы и к Пушкину относимся, может быть, не в буквальном смысле как к святому, но как к мученику: он был замучен своими поисками правды».

Но в этом сакрально-незыблемом понимании литературы как мучительного поиска правды эмигранты третьей волны и видят слабость своих предшественников. «Та, куда более блестящая, чем у нас сейчас, литература первой эмиграции, объявившая в 1922-м году, что с ее уходом за границу ничего творческого в России не осталось, не прошло и десяти лет, должна была признать свой глубочайший кризис. Причин много. И, может быть, одна из причин упадка, что литература слишком уж придерживалась столбовой, проторенной дороги, т. е. жила по инерции и не искала нового», – заявил А.Д. Синявский [21, с. 155]. Размышляя над современным восприятием символа «России вне России», А.С. Кленов и вовсе безапелляционно заявляет потомкам эмигрантов первой волны: «Откровенность Пушкина в их изложении представляется в наше время чем-то вроде наготы античных статуй, ни у кого не вызывающей особого интереса Пушкина почти не читают, и не только по вине школьных учителей: самый склад эмоций в наше время бесконечно далек от чувствительности тех времен, и Пушкин попросту не нужен. Но, как мы видим, интерес к нему не убывает» [23, с. 91].

Эта мысль не нова для эмигрантов третьей волны. Представляя ее в виде ряда художественных образов, С.Д. Довлатов создает свой «Заповедник». Необходимо отметить, что его творчеству свойственно соединение гротескового мироощущения с отказом от моральных инвектив, выводов. Довлатов изображает Пушкиногорье своеобразным русским Диснейлендом: тут, на заводе по производству фантомов, нет и не может быть ничего подлинного.

Таким образом, конструирование социального образа Пушкина, его литературной репутации может быть схематически представлено как отражение трансформации идеологии русского зарубежья. Став знаковым символом эмигрантской культуры к 1924 году, когда пушкинский праздник был осознан эмигрантами как момент единения и реализации своей культурной миссии, творческое наследие поэта стало специфическим средством культурного единения и «духовного выживания». День русской культуры, празднуемый в день рождения А.С. Пушкина, символизировал собой единство российской исторической памяти. В преддверии Второй мировой войны из категории «наследства» А.С. Пушкин попал в разряд «современников», наиболее востребованных поэтов в русских общинах. Эмигрантская пушкиниана уже на пороге превращения в общеэмигрантскую идеологию вдруг трансформировалась в нечто более неистребимое – идеологические и духовные устремления А.С. Пушкина стали средством личного выживания, личной связи с Родиной, легитимацией всего культурного наследия, вывезенного за рубеж.

С утратой надежды на возвращение в Россию миссия сохранения русской культуры исчерпала себя, уступив место задаче адаптации в новых условиях.

В послевоенный период личность и творчество А.С. Пушкина потеряли свою универсальную значимость в глазах представителей русского зарубежья. Наследие поэта подверглось деконструкции, пушкиниана обрела черты постмодернизма, а имя А.С. Пушкина оказалось отделено от его личности и творчества.

Summary

D.V. Tumanov. Construction of Social Image in the Context of Non-fiction Pushkiniana of Russian Emigration.

The article regards the evolution of Pushkin's image in non-fiction of Russian emigration on the basis of the principles of cultural transformation conception developed in modern sociocultural analysis. At that time the image of Pushkin became a subject of symbolic public sociopolitical discussion reflected in Russian culture.

Key words: Pushkin, non-fiction Pushkiniana, evolution of image, non-fiction and literary process of the 20th century, public sociopolitical discussion.

Литература

1. Блок А.А. Я лучшей доли не искал... – М.: Правда, 1988. – 560 с.
2. Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник // Пушкинист: Сб. Пушкинской комиссии Ин-та мировой лит. им. А.М. Горького / Сост. Г.Г. Красухин. – М.: Современник, 1989. – Вып. 1. – С. 370–378.
3. Федотов Г.П. Певец империи и свободы // Пушкин в русской философской критике: конец XIX – первая половина XX вв. / Сост. Р.А. Гальцевой – М.: Книга, 1990. – С. 356–375.
4. Ходасевич В. Ф. «Жребий Пушкина», статья о. С.Н. Булгакова // Пушкин в русской философской критике: конец XIX – первая половина XX вв. / Сост. Р.А. Гальцевой – М.: Книга, 1990. – С. 488–493.
5. Shlegel K. Das «andere Russland». Zur Wiederentdeckung der Emigrationsgeschichte in der Sowjetunion // Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. – Gottingen, 1991. – S. 238–256.
6. Лысенко А.В. Голос изгнания: Становление газет русского Берлина и их эволюция в 1919–1922 гг. – М.: Рус. кн., 2000. – 366 с.
7. Жирков Г.В. Между двух войн: Журналистика русского зарубежья (1920–1940 годы). – СПб.: Изд-во С.-Петербур. гуманит. ун-та профсоюзов, 1998. – 207 с.
8. Ильин И.А. Пророческое призвание Пушкина // Речи о Пушкине: 1880–1960 годы. – М., 1999. – С. 198–223.
9. Булгаков С.Н. Жребий Пушкина // Новый Град. – 1937. – № 12. – С. 4–28.
10. Епископ Леонтий. Какова подлинная причина убийства Пушкина? // Новое Русское Слово. – 1937. – 7 февр.
11. Лифарь С.М. Всемирный Пушкинский Зарубежный Комитет 1937 года // Центральный Пушкинский Комитет в Париж (1935–1937). – М., 2000. – Т. 1. – С. 51–106.
12. Степун Ф.А. Духовный облик Пушкина // Вестн. рус. студ. христ. движения. – Париж; Нью-Йорк, 1962. – № 65. – С. 1–7.
13. Федотов Г.П. Пушкин и освобождение России // Новая Россия. – 1937. – № 21. – С. 25–34.
14. Федотов Г.П. Новый идол // Соврем. зап. – 1935. – № 57. – С. 34–45.

15. *Адамович Г.В.* Пушкин и Чайковский // Последние новости. – 1940. – 6 февр.
16. *Мережковский Д.С.* Пушкин и Россия // Иллюстрированная Россия. – 1937. – № 7. – С. 30–36.
17. *Струве Н.С.* Русская эмиграция и Пушкин . – URL: <http://tricolor.org/history/re/15/>, свободный.
18. *Ажгихина Н.И.* Уроки «третьей волны» // Общественные науки и современность. – 1992. – № 3. – С. 109–115.
19. *Битов А.Г.* Жизнь в ветреную погоду. – Л.: Худож. лит., 1991. – 623 с.
20. *Бродский И. А.* Представление // Бродский И. Сочинения: в 4 т.– СПб.: Пушкинский фонд, 1994. – Т. 3. – С. 114–118.
21. *Синявский А.Д.* О критике // Синтаксис. – 1982. – № 10. – С. 146–155.
22. *Писарев Е.Н.* Василий Аксенов: Я московский эмигрант // Рос. газ.-Черноморье. – 2005. – 4 окт.
23. *Кленов А.Н.* Пушкин без конца // Синтаксис. – 1982. – № 10. –С. 90–131.

Поступила в редакцию
28.11.08

Туманов Дмитрий Валериевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Казанского государственного университета.
E-mail: dvt1964@yandex.ru